



В. В. ВОДОВОЗОВ

Николай II *

Когда из Ялты получилось известие о смерти императора Александра III, то Витте поехал к Ив. Н. Дурново (тогдашнему министру внутр. дел) уговориться по некоторым вопросам. «Мы оба, — говорит Витте, — были в тяжелом и грустном расположении духа».

«Что же вы, Сергей Юльевич, думаете относительно нашего нового императора?» — спросил Дурново.

«Я ответил, что о делах говорил с ним мало, знаю, что он совсем неопытный, но и не глупый, и он на меня производил впечатление весьма хорошего и весьма воспитанного молодого человека. Действительно, я редко встречал так хорошо воспитанного человека, как Николай II, таким он и остался. Воспитание это скрывает все его недостатки. На это И. Н. Дурново мне заметил:

* Впервые: *Водовозов В. В.* Граф С. Ю. Витте и император Николай II. Пг.: Центральное кооперативное издательство «Мысль», 1922. С. 32–69. Печатается по этому изданию глава «Николай II».

Водовозов Василий Васильевич (1864–1933) — русский публицист либерально-демократического направления, юрист и экономист, автор статей по социально-экономической и политической истории. До 1917 г. неоднократно арестовывался. С 1904 г. жил в С.-Петербурге, где принадлежал к редакции журнала «Наша жизнь», а также вел иностранный отдел в журнале «Вопросы жизни». В 1903–1905 гг. читал лекции в разных городах России по вопросам государственного права. В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» ему принадлежит большая часть статей по государственному праву и новейшей истории Запада. В 1917 г. входил в редакцию журнала «Былое», сотрудничал в газете «День». Октябрьскую революцию не принял, эмигрировал в 1926 г. Покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд. — *Примеч. сост.*

“Ошибаетесь Вы, Сергей Юльевич, вспомните меня — это будет нечто вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности”. Я затем часто вспоминал этот разговор. Конечно, император Николай не Павел Петрович, но в его характере не мало черт последнего и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I. Александр I, по своему времени, был одним из образованнейших русских людей, а император Николай II, по нашему времени, обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства»*.

Копия Павла Петровича в настоящей современности обнаружила себя в первые же дни.

На первом докладе, который имел у него Витте, Николай сам заговорил с ним о проекте устройства нашего морского опорного пункта на Мурмане, в Екатерининской гавани, за который Витте уже несколько времени горячо ратовал, выразил с ним свое полное согласие и хотел даже немедленно объявить об этом указом. Витте торжествовал.

Прошло два-три месяца, и вдруг Витте прочитал в «Правительственном вестнике» указ императора Николая II о том, «что он считает нужным сделать главным нашим морским опорным пунктом Либаву и осуществить все эти планы, которые на этот предмет существуют, и назвать этот порт — портом императора Александра III, во внимание к тому, что будто бы это есть завет императора Александра III».

Последнее было прямою неправдою: сам Николай сообщил С. Ю. Витте, что на его докладе Александру III, найденном Николаем в бумагах отца, имелась собственноручная пометка, которою покойный император выражал согласие с проектом Витте.

Чем же объяснялась перемена и грубая неправда? Она объяснялась тем, что вел. кн. Алексей Александрович, сторонник Либавского, а следовательно, противник Мурманского порта, переубедил Николая. В свою очередь, вел. кн. находился под влиянием морского министра Чихачева и некоторых других лиц, заинтересованных в сооружении порта именно в Либаве. После этого указа Николай II, как слышал Витте, приезжал к вел. кн. Константину Константиновичу и «со слезами на глазах сетовал великому князю о том, что вот генерал-адмирал вел. кн. Алексей

* Т. I, стр. 3 русского издания, из заграничной записи.

Александрович заставил его подписать такой указ, который совершенно противоречит его взглядам и взглядам его покойного отца. Отказать же ему в этом император Николай II не мог, так как вел. кн. поставил этот вопрос таким образом, что если этого не будет сделано, то он почтет себя крайне обиженным и должен будет отказаться от поста генерала-адмирала».

И Либавскому порту, устроенному вопреки желанию Александра III, было дано имя Александра III. В конце концов Либавский порт оказался, по мнению Витте, совершенно ненужным, и на него только зря выброшены деньги.

Поступая таким образом вопреки еще недавнему своему убеждению, Николай затаил злобу если не на Алексея, то на морского министра Чихачева. И этот последний скоро пал жертвой мстительности Николая. Увольняя Чихачева, Николай в то же время сделался особенно милостив к Алексею Александровичу, так как «в характере государя: если он причинял своим близким огорчение, то старался загладить это ласками».

Решение устроить порт в Либаве вместо Мурмана имело, по мнению Витте, роковые последствия: оно заставило нас искать открытого моря на Дальнем Востоке и «привело к злополучному шагу — захвату Порт-Артура; затем мы спускались со ступеньки на ступеньку и наконец дошли до Цусимы»*.

«Вступив неожиданно на престол, император Николай II был совершенно к этому не подготовлен, а потому и находился под всевозможными влияниями, преимущественно под влиянием великих князей.

В первые годы его царствования доминирующее влияние на него имела императрица, но влияние это было непродолжительно; затем на Николая II постоянно влияли, влияют и теперь — великие князья. Но в настоящее время государь император, — и не без

* Т. I, 3–10 и 69 русского издания, из стенографической диктовки. То же самое, но короче, имеется и в собственноручной записи; там (стр. 207) прибавлено еще: «Государь всякий раз, когда подпишет какой-либо документ, который затем ему не нравится, говорит сам или сие возглашает придворная его камарилья, что документ этот у него вырван. Ведь придворная камарилья и сама императрица не стесняются говорить, что будто бы я вырвал у государя манифест 17 окт.», а между тем это утверждение совершенно ложно. Вслед за тем в собственноручной записи идет рассказ о том, какая сеть интриг сплелась вокруг этой либаво-мурманской истории и, в частности, как интриговали друг против друга великие князья Алексей Александрович и Александр Михайлович.

основания, — имеет убеждение в том, что, он гораздо опытнее и гораздо больше знает, нежели все окружающие его многочисленные члены царской семьи, так как он процарствовал уже 15 лет, многое в своей жизни испытал, много видел и потому приобрел такую, по крайней мере, механическую опытность в управлении, какой, конечно, ни один из членов его семьи не имеет.

В начале же царствования императора Николая II... был жив и вел. кн. Владимир Александрович, и великие князья Алексей Александрович и Сергей Александрович (его дяди), лица, которые, несомненно, в его глазах имели гораздо большую опытность и значение и занимали более или менее важные государственные посты, тогда как император был еще младенцем.

Ныне эти великие князья все поумирали. Надо при этом заметить, что вел. кн. Владимир Александрович был человеком замечательного образования, замечательной культуры; вообще все они были люди превосходные и, как великие князья, вполне достойные. Только можно пожалеть, что вообще великие князья играют часто такую роль потому, что они *великие князья*, между тем как эта роль совсем не соответствует ни их знанию, ни их талантам, ни образованию.

Когда же они начинают влиять на государя, то из этого большею частью всегда выходят одни только различные несчастья.

Нужно сказать, что при императоре Александре III великие князья ходили по струнке. Покойный император держал их в респекте и не давал им возможности вмешиваться в дела, их не касающиеся. Император Александр III и в области их управления имел сдерживающее влияние на великих князей и пользовался среди них полным авторитетом. Все великие князья любили Александра III, но в то же время и боялись его. С воцарением молодого императора все это было перевернуто, что вполне естественно объясняется разностью лет и разностью жизненного авторитета между молодым императором и некоторыми великими князьями, родственным уважением молодого императора к старшим и, наконец, мягкостью характера и темпераментом нового императора. Это обстоятельство и было одною из причин многих неблагоприятных явлений, скажу даже больше — бедствий царствования императора Николая II».

Первоначально от Николая «исходил, можно сказать, дух благожелательности», он всем желал счастья, ибо у него «сердце, несомненно, весьма хорошее, доброе», но в последующие годы

проявились иные черты характера; однако он всегда был убежден, что поступает хорошо*. Во всяком случае, он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный — эту оценку Витте любит повторять, не замечая, что хотя бы месть Чихачеву за свою собственную слабость и податливость и многие другие факты того же рода не говорят ни о доброте, ни о воспитанности.

Доброта и благожелательность Николая имели, во всяком случае, некоторые странные свойства и часто обходились России не дешево. Вот любопытный пример.

В 1897 году Россию посетил император Вильгельм. Однажды «государь император возвращался вдвоем с германским императором в экипаже. Когда государь вернулся из этой поездки», то он сказал вел. кн. Алексею Александровичу, от которого это узнал Витте, «что ему крайне неприятно, что германский император спросил его: нужен ли России китайский порт Киао-Чао, что в этот порт русские суда никогда не заходят и что в своих целях, в интересах Германии, он желал бы занять этот порт, чтобы он был стоянкой германских судов, но не хочет этого сделать, не имея на то согласия русского императора.

«Государь прибавил, что германский император, заговорив с ним об этом, поставил его в самое неловкое положение, так как он гость, и категорически отказать ему в этом было бы неловко, что вообще ему это крайне неприятно».

Захват Киао-Чао Германией, как признает Витте, был началом расхищения Китая, которое привело нас к несчастной войне с Японией. Эта война и была тою платою, которою Россия оплатила доброту и столь замечательную деликатность своего царя**.

При этой сомнительного достоинства доброте Николай отличался крайнею слабостью воли, податливостью чужим влияниям, переменчивостью решений — и вместе с тем крайним упрямством.

«Говорят, что характер императора чисто женский, что природа по недоразумению создала его мужчиной. Его величество переходит все границы в знаках внимания к лицу, которое пользуется его благорасположением, в особенности если это лицо назначено лично им, а не его отцом. По прошествии некоторого

* Т. I, стр. 9–11, из стенографической записи.

** Русское издание, т. I, стр. 8–12, из стенографич. записи.

времени, однако, Его Величество делается равнодушным к своему фавориту, а в конце концов убеждается, что тот не заслуживает его любви, и тогда уже начинает испытывать к нему антипатию; я замечал не раз, что Его Величество с трудом терпит около себя людей, которых он в душе почитает выше себя в моральном и умственном отношении, или таких, мнения которых отличаются от мнений дворцовой камарильи»*.

«Он чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он, или которых он считает менее даровитыми и знающими, нежели он, или наконец, которые, зная эту его слабость, представляются таковыми»**.

«Он недолго любил и даже не переносил лиц, твердых в своих мнениях, своих словах и своих действиях»***.

«Коварство, молчаливая неправда, неумение сказать да или нет и затем сказанное исполнить, болезненный оптимизм, т. е. оптимизм как средство подымать искусственно нервы — все это черты», свойственные Николаю****.

«Сипягин — совершенный дворянин, ультраконсерватор, откровенно и с большою горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя, что государь не правдив и коварен»*****.

«Даже после дарования конституции Николай смотрел на самого себя как на автократа, и его убеждение может быть выражено такими словами: я делаю то, что я хочу, а то, чего я хочу, есть благо; если люди этого не понимают, то это потому, что они простые смертные, а я божий помазанник»^{6*}.

«Бедный и несчастный государь! Что он получил и что оставит? И ведь хороший и не глупый человек, но безвольный, и на этой черте его характера развились его государственные пороки, т. е. пороки как правителя, да еще такого самодержавного и неограниченного. Бог и я»^{7*}.

* Английское издание, стр. 182.

** Т. I, 14, стенографич. запись. Как видим, и в стенографических диктовках встречаются довольно резкие отзывы о Николае.

*** Т. I, стр. 280–281, из собственноручной записи.

**** Т. I, стр. 252, из собственноручной записи.

***** Т. I, стр. 184, из собственноручной записи.

^{6*} Английское издание, стр. 183.

^{7*} Т. I, стр. 262, из собственноручной записи. Как видим, и в собственноручных, следовательно, более откровенных записях встречаются утверждения, что Николай — хороший и не глупый человек.

Николай II был настолько невежествен, что он, по утверждению Витте, никогда «не открыл ни одной страницы русских законов» и не сумел бы разъяснить, «какая разница между кассационным департаментом Сената и другими его департаментами». Между тем иногда его высочайшие отметки на разных бумагах вдруг начинают пестреть ссылками на такой-то закон и на такое-то решение кассационного департамента. Откуда это? Очень просто: даже высочайшие собственноручные отметки им только переписываются, а проекты их подсовываются ему приближенными, в 1905 году подсовывались Треповым, который тоже писал их не сам, а поручал состоявшему при нем сенатору Гарину; перо Гарина как раз имело особенное тяготение к ссылкам на законы и кассационные решения.

Точно так же все свои речи царь не умел говорить иначе, как по «шпаргалке», которую изготовлял для него либо Трепов, либо другой временщик*. Вообще у него «в верхнем этаже — сквозные ветерочки из дверей, которые в хороших домах обыкновенно плотно припираются», а в его душе лежало «мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость»**.

Хитрость и коварство сказывались постоянно, во всем. В самые трагические минуты для России и даже для него лично царь не оставлял своих византийских манер и ходил окольными путями, а так как при этом не только он не обладал талантами Меттерниха или Талейрана, но в его верхнем этаже ходил сквозной ветер, то, естественно, что своими «обходными путями он всегда доходил до одной цели — лужи, в лучшем случае — помоев, а в худшем — крови»***.

Примеров этого — сколько угодно. Вот один.

В октябре 1905 года в России шла революция, первая русская революция. Царь дрожал за свою власть и чувствовал необходимость обратиться за спасением к ненавистному Витте. И вот по утрам в Петергофском дворце, где жил тогда царь, под председательством царя шли заседания с Витте и другими лицами, толкавшими царя на конституционную дорогу, а днем другие заседания — с Горемыкиным и группой реакционеров, толкавших царя как раз на противоположную дорогу; один и тот же

* Т. II, стр. 69 и 70, из собственноручной записи.

** Т. II, стр. 40, из собственноручной записи.

*** Т. II, стр. 32, из собственноручной записи.

пароход отвозил участников тех и других заседаний в Петергоф из Петербурга и обратно, а между тем эти двойные заседания должны были составлять секрет для их участников. Конечно, сохранить секрет оказывалось невозможным, и Витте прекрасно знал, какая ведется интрига за его спиной, так же, как это знал, вероятно, и Горемыкин.

Стесняться законами Николай II никогда не считал нужным; его понятие самодержавия («Бог и я») делало это излишним. Конечно, в современном государстве все же существуют известные учреждения, которые играют роль некоторых сдержек, но против одного учреждения всегда можно выдвинуть другое. Министр юстиции докладывает императору по всем делам, «касающимся правосудия, когда же нужно творить уже совершенно явное неправосудие, то нужно обращаться к другому докладчику, главному управляющему комиссией прошений, или, попросту сказать, главному делопроизводителю одного из отделений его (царя) канцелярии»*.

Совершенно понятно, что Николай II возбуждал к себе, по признанию Витте, чуть что не всеобщее «чувство отвращения, злобы или чувство жалостного равнодушия, если не презрения», и все же сам Витте обещает всю жизнь служить и не изменять ему до гроба, «несмотря на все горькие и стыдные чувства, которые возбуждает в нем этот “царственный глава”»**.

Таков Николай в изображении Витте.

Податливость на чужие, и притом преимущественно низменные, влияния и упрямство, — а вовсе не доброта, — особенно ярко сказались у Николая после Ходынской катастрофы, о которой Витте дает некоторые новые характерные черточки.

В один из коронационных дней, именно 18 мая 1896 года, на Ходынском поле (под Москвой), где было назначено народное гулянье и должны были раздаваться народу царские подарки, вследствие непринятия властями предупредительных мер, произошла страшная давка; она вызвала панику, и в результате поле покрылось тысячами трупов, как после сражения.

Подъезжая в этот день к Ходынскому полю, Витте спрашивал себя: «Не последует ли приказ государя, чтобы это веселое торжество, по случаю происшедшего несчастья, обратить в торжество

* Т. II, стр. 69, из собственноручной записи.

** Т. II, стр. 32, 45 и 63, из собственноручной записи.

печальное и, вместо слушания песен и концертов, выслушивать на поле торжественное богослужение?

Когда я приехал на место, то ничего особенного не замечалось, как будто никакой особенной катастрофы не произошло, потому что с утра успели все убрать, а где могли быть какие-нибудь признаки катастрофы, — все это было замаскировано и сглажено.

Но, конечно, все приезжающие чувствовали, что произошло большое несчастье и находились под этим настроением».

В это время в Москве находился чрезвычайный китайский посланник Ли-Хун-Чан. Он тоже прибыл на Ходынское поле и там спросил Витте:

— Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено государю?

Получив утвердительный ответ, Ли-Хун-Чан сказал: «Ну, у вас государственные деятели не опытные; вот когда я был генерал-губернатором Печилийской области, то у меня была чума, и умирали десятки тысяч людей, а я всегда писал богдыхану, что у нас все благополучно, и когда меня спрашивали, нет ли у вас каких-нибудь болезней, я отвечал: “Никаких болезней нет, что все население находится в самом нормальном порядке”».

«Кончив эту фразу, Ли-Хун-Чан как бы поставил точку и затем обратился ко мне с вопросом:

— Ну, скажите, пожалуйста, для чего я буду огорчать богдыхана сообщением, что у меня умирают люди? Если бы я был сановником вашего государя, я, конечно, все от него скрыл бы. Для чего его, бедного, огорчать!»

«После этого замечания я подумал: ну, все-таки мы ушли далее Китая. Вскоре приехали великие князья и государь император и, к моему удивлению, празднества не были отменены, а продолжались по программе: так, массой музыкантов был исполнен концерт под управлением известного дирижера Сафонова; вообще все имело место, как будто бы никакой катастрофы и не было».

Не был отменен даже бал у французского посла, графа Монтебелло, назначенный на вечер того же дня, хотя многие и, по-видимому, даже великий князь Сергей Александрович советовали царю это сделать и во всяком случае на бал не приезжать, но Николай не согласился: «по Его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздника коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать».

«При этих словах мне естественно пришла в голову аналогия между этим рассуждением и рассуждением, которое я слышал утром от великого государственного человека в Китае — Ли-Хун-Чана».

«Через некоторое время приехал государь и императрица; открылся бал, причем первый контрданс государь танцевал с графиней Монтебелло, а государыня с графом Монтебелло. Впрочем, государь вскоре с этого бала удалился».

Кто был виноват в этой катастрофе? «Если бы московским генерал-губернатором был не вел. кн. Сергей Александрович, а кто-нибудь другой, то, разумеется, первым ответственным лицом за ходынскую катастрофу был бы московский генерал-губернатор, а затем и министр двора Воронцов-Дашков».

Но вел. князь защищал свою полицию, взваливая ответственность на чиновников Министерства двора, Воронцов-Дашков на полицию. Было произведено расследование, и даже два расследования: одно министром юстиции Н. В. Муравьевым, добравшимся до своего поста по протекции вел. князя, другое — бывшим (еще при Александре II) министром юстиции гр. Паленом, во время коронации исполнявшим обязанности обер-церемониймейстера, причем это последнее расследование было назначено под влиянием Марии Федоровны, в противовес муравьевскому. Оба расследования привели к диаметрально противоположным результатам. Пален обвинял во всем московскую полицию, и на его докладе «Его Величество соизволил написать самую лестную резолюцию; но через несколько дней приехал из Москвы вел. князь Сергей Александрович, и дело было совершенно перерешено». В конце концов виновным оказался только один человек, а именно обер-полицеймейстер Власовский, который и был уволен*.

Итак, влияние дяди, вел. кн. Сергея, виновного в катастрофе, привело к тому, что гибель 2000 человек прошла безнаказанно.

Влияние великих князей, Марии Федоровны и других приближенных обыкновенно определяло назначения на высшие государственные посты. Витте не скупится на эпитеты: «ограни-

* Т. I, стр. 59–65, все из стенографических записей, кроме фразы о том, что мы ушли дальше Китая, указания на резолюцию Николая на докладе Палена и перерешение вопроса под влиянием вел. кн. Сергея, — это из собственной записи.

ченный человек», человек совершенно не знакомый с тем делом, которое ему было поручено, человек с уровнем знаний — и притом в своей специальной области — гимназиста 2 класса и т. д. и щедро применяет их к министрам, подробно излагая историю получения ими по протекции своих высоких постов*.

Интересна история назначения И. Л. Горемыкина на пост министра внутренних дел.

Ив. Ник. Дурново был уволен в 1895 году. Причины его увольнения Витте «в точности» не знает, но сам Дурново говорил ему, что им была недовольна «августейшая матушка», обвинявшая его в том, «будто им перлюстрируются ее письма»**.

Явился вопрос: кого на его место?

Николай советовался с Витте, причем сообщил ему, что ему рекомендовали Плеве и Сипягина. Витте сказал, что Плеве «человек, несомненно, очень умный, очень опытный, хороший юрист, вообще человек очень деловой, в состоянии много работать и очень способный, но насколько на него можно положиться в том смысле — каковы его убеждения, есть ли это в данный момент его убеждения, искренни ли они, глубоки ли, а не просто ли карьерные — об этом всегда судить очень трудно».

При Лорис-Меликове Плеве был решительным либералом, при Игнатеве проводил игнатьевские убеждения, при Толстом стал консерватором, вообще легко менял свои убеждения, быстро принаравливая их к убеждениям своего начальства, — это Витте сказал императору***.

* Витте не замечает, что иногда его рассказы этого рода рикошетом попадают и в глубокоуважаемого им Александра III, так как, как мы видели в предыдущей главе, карьеры делались людьми бесчестными и при Александре III. Вспомним карьеру А. К. Кривошеина.

** Т. I, стр. 27, из стенографической записи.

*** Т. I, стр. 29, из стенографической записи. А в собственноручной к этому прибавлено:

«Я не сказал государю, что Плеве ренегат из-за карьеры, а я думаю, что не может быть честного человека, меняющего свою религию из-за житейских выгод. Я не сказал государю, что Плеве по натуре хам и сделался ярым адвокатом всех дворянских эгоистических тенденций не по убеждениям и не по традициям (его отец еще не был дворянином, а чуть ли не органистом у какого-то польского помещика), а потому, что посредством дворянской клики у престола он делал и сделал свою карьеру. Как ренегат и не русский, он, конечно, дабы показать, какой он истинно русский и православный, готов был на всякие стеснительные меры по отношению ко всем подданным Его Величества не православным. Вот почему Победоносцев его презирал,

К Сипягину, с которым Витте был в тесной дружбе (даже на «ты»), он относился гораздо сочувственнее, хотя и признавал его не особенно сведущим, не особенно опытным, не особенно талантливый, — но все же, по его мнению, это человек со здравым смыслом, гуманный, твердый, и притом человек твердых убеждений, хотя и очень узких, дворянско-консервативных.

Царь спрашивал и мнения Победоносцева и потом передал Витте его отзывы об этих лицах.

«Константин Петрович сказал, что Плеве подлец, а Сипягин дурак». Как видим, отзыв Витте о первом совпадал с отзывом Победоносцева, да и о втором был не очень далек от него.

«Тогда я (Витте) спросил государя:

— Что же, Ваше Величество, он сам кого-нибудь рекомендовал? Государь улыбнулся и говорит:

— Да, он мне рекомендовал... между прочим, он и о вас говорил.

Очевидно, государь не хотел передать то, что он сказал обо мне, но я сразу догадался и говорю:

— Ваше Величество, хотя я не знаю, что говорил Победоносцев, но почти уверен, что могу догадаться...

— А как вы думаете, что?

— Да, наверно, — говорю, — он сказал так: есть только один человек, который может быть министром, это вот Витте, да и тот... и тут он сказал какое-нибудь бранное слово, что-нибудь вроде известной фразы Собакевича в «Мертвых душах»: один там только и есть порядочный человек — прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья...

Государь рассмеялся».

В конце концов Победоносцев рекомендовал Горемыкина, Витте тоже заявил, что Горемыкин производит впечатление человека порядочного*, но счел нужным на всякий случай заметить, что Константин Петрович (Победоносцев) рекомендует Горемыкина потому, что оба они правоведа, а известно, что правоведа, так же как и лицеисты, держатся друг за друга, «все равно, как евреи в своем кагале».

так как сам Победоносцев это делал по убеждению». «Я имел неосторожность передать мой разговор с Е. Величеством Ивану Ник. Дурново, который, конечно, его передал Плеве, как я узнал впоследствии».

* Позднее Витте отзывался о Горемыкине как об «оловянном чиновнике, отличающемся от тысячи себе подобных своими большими баками». Т. I, стр. 317, из собственноручной записи.

Горемыкин и был назначен.

А после него пришла очередь «дурака» Сипягина, а за ним и «подлеца» Плеве.

В дополнение к этой превосходной жанровой картинке остановимся несколько на перлюстрации писем, которая послужила камнем преткновения для И. Н. Дурново (ниже читатель найдет рассказ о том, как интерес к чужим письмам задержал карьеру и другого Дурново, П. Н.).

Об ней Витте рассказывает следующее:

«И. Н. Дурново говорил мне, что он перлюстрацией писем не занимается, хотя утверждение это было неверно как в отношении его, так и в отношении всех последующих министров внутренних дел. Недавно погибший министр внутренних дел Столыпин точно так же негодовал, возмущался делаемыми предположениями, что в Министерстве внутренних дел им перлюстрируются частные письма. Между тем я знаю совершенно достоверно, что письма эти перлюстрировались и что Столыпин посвящал очень много времени чтению чужих писем. Это приносило вред и мне, ибо когда я был председателем Совета министров, то и мне одно время давали эти письма, и я знаю по себе, как эти письма влияют на нервы и возбуждают различные чувства»*.

Витте, зная это, тем не менее не стеснялся в письмах к знакомым давать резкие отзывы о Плеве, тем только подогревая его злобу к себе**.

Мы сейчас видели, как назначались министры. Что же касается их смещения, то оно нередко приходило внезапно, так что они сами узнавали о нем совершенно неожиданно для себя, только из «Правительственного вестника», как *fait accompli*, как иной раз узнавали и о важнейших государственных мероприятиях. Мы уже видели, что Витте, министр финансов, которого вопрос об устройстве порта на Мурмане или в Либаве близко касался, узнал о состоявшемся решении только из «Правительственного вестника»; только из него же он узнал об отставке А. К. Кривошеина, как и о многих других отставках.

Случалось, однако, и хуже.

Сам Горемыкин чуть ли не из «Правительственного вестника» узнал о своей отставке: ничто определенно ее не предвещало

* Т. I, стр. 28, стенографическая запись.

** Т. I, стр. 249, собственноручная запись.

(хотя об ней и ходили слухи), и Горемыкин даже путешествовал за границей, когда на него совершенно неожиданно свалилась отставка*.

Подобное же приключение испытал и сам Витте, хотя и не в качестве министра.

С 1902 года он состоял председателем Особого совещания о сельскохозяйственных нуждах.

Совещание работало несколько лет очень усиленно, и еще 28 марта 1905 года «государь соизволил утвердить журнал Совещания, в котором содержались предположения о будущем. Конечно, о том, что он недоволен работою Совещания, он мне никогда не говорил ни слова, о закрытии Совещания не предупредил и затем вообще о Совещании не проронил ни слова».

Казалось бесспорным, что Совещание может рассчитывать еще на долгое существование, пока не окончит возложенной на него задачи.

И вот «30 марта 1905 г. утром, в то время, когда я пил кофе, мне позвонили в телефон. Я подошел к телефону. Оказалось, что в телефон говорит со мною И. П. Шипов», управляющий делами Совещания.

«— Вы, Ваше превосходительство, читали высочайший указ?

— Какой указ?

— Указ о закрытии Совещания о сельскохозяйственных нуждах?

Причем в тоне Шипова слышался как бы упрек, что я никого об этом не предупредил.

Я на этот упрек ничего не ответил, так как странно было бы мне сказать: да я и сам в первый раз об этом от вас слышу**.

Таких случаев было очень много.

Иногда, давая людям отставку, Николай позволял себе и такие штучки.

Рассердившись на военного министра Куропаткина за то, что тот в последнюю минуту перед войной начал противодействовать воинственной политике, Николай дал ему отставку, но вместе с тем, по своему обыкновению, спросил у него совета,

* Т. I, стр. 147–153, стенографическая запись. Возможно, что здесь Витте чего-нибудь не договаривает. Нет сомнения, что сам Витте вел борьбу против Горемыкина и, может быть, был одним из виновников его отставки.

** Т. I, стр. 480, стенографическая запись.

кого назначить на его место. Куропаткин назвал несколько лиц. На них внимание государя не остановилось, и он его спросил о Сахарове, начальнике Главного штаба. «Куропаткин его аттестовал крайне неблагоприятно. Конечно, Сахаров был сейчас же после этого разговора назначен, так как это было предрешено, и разговор с Куропаткиным был только для вежливости».

Через несколько дней Николай, зная, что Куропаткин ведет дневник, попросил его у него, мотивируя свою просьбу тем, что в дневнике Куропаткина должны быть записаны некоторые предложения, сделанные раньше Куропаткиным, которые Николай будто бы желал осуществить. Куропаткин вручил царю две тетради; во второй был записан разговор Куропаткина с Николаем о Сахарове, и записан в такой редакции:

«Я не советую назначить Сахарова: он никогда не занимал серьезного поста в строю, ожирел и страшный лентяй...»

Царь сейчас же послал дневник Сахарову, будто бы для того, чтобы тот осуществил предложения Куропаткина, и как будто по ошибке послал как раз вторую тетрадь, с этим отзывом, вместо первой, в которой были практические предложения Куропаткина*.

Эта мелкая низость, не имевшая никакой определенной цели, кроме желания сделать другому неприятность, желания поссорить двух людей, была совершена в то время, когда велась война, когда Сахаров был назначен военным министром, а Куропаткин командующим армией, и когда, следовательно, было особенно необходимо возможно полное согласие двух этих людей.

В этой истории есть и еще одна сторона. Царь как человек мелкий и тщеславный очень интересовался дневниками и воспоминаниями своих министров. Из предисловия графини Витте к «Воспоминаниям» ее мужа мы уже видели, как царь желал раздобыть эти последние. А из самых «Воспоминаний» мы узнаем, что Сипягин не был так предусмотрителен, как Витте, и что его вдова после его смерти отдала царю, по его просьбе, через дворцового коменданта Гессе две тетради дневника своего мужа, а царь возвратил ей только одну, причем, когда по поручению Сипягиной у него спросили о другой, сказал, что, вероятно, в той говорилось что-нибудь неблагоприятное о Гессе, и Гессе, не желая, чтобы царь прочитал про него, ее уничтожил**. Надо думать, что

* Т. I, стр. 142, из собственноручной записи.

** Т. I, стр. 183, из собственноручной записи.

и «Воспоминаниям» Витте грозила бы та же участь, если бы он был менее предусмотрителен.

Ошарашивать Николай любил не только неожиданными отставками, но и другими действиями.

У всех переживших Японскую войну и первую революцию остался в памяти случай, когда в один день (18 февраля 1905 г.) было издано два правительственных акта диаметрально противоположного направления. Витте объясняет, как это произошло.

Неудачи на войне и начало революционного движения властно толкали правительство навстречу требованиям общества. И наконец сам царь «поручил Булыгину составить проект рескрипта на его имя, в котором давалось бы ему, Булыгину, министру внутренних дел, поручение составить проект привлечения выборных к законодательству»...

«17 февраля все министры и я, как председатель комитета, были приглашены к государю императору в Царское Село для обсуждения мер, которые необходимо принять для успокоения общества.

«Когда мы сели в вагон, то один из министров говорит: “А вы читали манифест, который сегодня появился в Собрании Узаконений, а равно и указ Сенату?” Мы все были удивлены, не имея понятия ни об этом манифесте, ни об указе. В том числе был удивлен и министр внутренних дел Булыгин»*.

Манифест состоял в сообщении «нашим подданным», что в России, «на радость ее врагам», «поднялась смута», что «ослепленные гордыней злоумышленные вожди мятежного движения» стремятся разрушить в России самодержавие и учредить управление страной «на началах, обществу нашему не свойственных».

Итак, министры ехали в Царское Село для обсуждения конституционного рескрипта, а по дороге в поезде узнали, что конституция не свойственна нашему отечеству.

Кто написал этот манифест? Министры этого не знали. С ними не было Победоносцева, — он считался больным и на заседания не ездил; слог и мысли манифеста напоминали его, и, вероятно, именно он и был так или иначе к нему прикосновенен. Остальные министры были чужды этому манифесту и даже ничего о нем не знали до его появления в печати.

* Т. I, стр. 338–339, из стенограф. записи. Число 17 февраля поставлено по ошибке: манифест и указ, о которых говорит Витте, были подписаны 18 февраля и в тот же день появились в Собрании Узаконений.

«Государь явился на заседание как ни в чем не бывало, точно и не было манифеста. В душе, вероятно, государь благодушно злорадствовал, так как он всегда любил неожиданностями озадачивать своих советчиков»*.

«Проделка с манифестом», как ее называет Витте, подействовала на министров; при обсуждении рескрипта Булыгину они были настойчивее и единодушнее, чем обыкновенно, и государь подписал рескрипт в булыгинской редакции, говоря, что он не видит противоречия между манифестом и тою политикой, которая находит выражение в рескрипте.

А между тем в этом последнем возвещалось намерение императора «с Божией помощью привлечь достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в разработке и обсуждении законодательных предположений», т. е. если не настоящая конституция, то во всяком случае некоторое ее подобие.

«Таким образом, — говорит Витте, — в один и тот же день появилось два совершенно противоположных государственных акта; впрочем, это бывало и ранее и позднее. Ведь еще несколько месяцев тому назад появился манифест 3 июня 1907 года, подтверждающий манифест 17 октября, а через несколько дней телеграмма государя проходимцу Дубровину, председателю Союза русских людей, в сущности, совершенно отрицающая манифест 17 октября.

Само собой разумеется, что при таком ведении дела, несмотря на теперешнее желание России так или иначе покончить с революцией, нельзя добыть и ожидать спокойствия. Россией играют, как игрушкой, может быть, не дурные, но все же дети. Ведь на войну с Японией смотрели как на войну с оловянными солдатиками. Такая же психика — психика полной безответственности, как здесь, так и на небе...»**.

Тут, кроме склонности делать сюрпризы, мы видим недомыслие, соединенное с крайним самомнением и крайней самоуверенностью (ниже мы увидим еще более яркие их образцы). Разумеется, всякий монарх, — а неограниченный тем более, — живет в такой атмосфере поклонения и лести, которая питает эти чувства, но кажется, что у Николая эта атмосфера отличалась совершенно исключитель-

* Т. I, стр. 340, из собственноручной записи.

** Т. I, стр. 341, из собственноручной записи.

ной сгущенностью. Царица, выросшая все же в конституционном государстве, могла бы, казалось, быть сдержаннее в выражении своих автократических чувств, а между тем именно она считала нужным заявлять, что «государь все может», — может даже сделать кого-либо святым: такое заявление было сделано ею, например, по поводу провозглашения святым Серафима Саровского. Мысль об этом была внушена Николаю через посредство вел. кн. Петра Николаевича Иоанном Кронштадтским и некоторыми другими лицами, и царь, пригласив к себе на завтрак Победоносцева, потребовал от него в присутствии императрицы, чтобы он представил указ о святости Серафима. Победоносцев, при всей своей услужливости, ответил, что этого нельзя сделать без проверки и предварительных исследований. Именно тогда царица «соизволила заметить, что государь все может»*. И Серафим был сделан святым. Впрочем, Николай сделал маленькую уступку: согласился отсрочить его канонизацию на год.

Вообще Александра Федоровна была роковым человеком для Николая и через него для России.

«Странная особа» эта Александра Федоровна, говорит Витте. «Когда подбирали жену цесаревичу, за несколько лет до смерти Александра III, ее привозили в Петербург на смотрины. Она не понравилась. Прошло два года. Цесаревичу невесты не нашли, да серьезно и не искали, что было большой политической ошибкой. Цесаревич, естественно, сошелся с танцовщицей Кшесинской. Об этом Александр III не знал, но это подняло приближенных, все советовавших скорее женить наследника.

Наконец, император заболел. Он и сам решил скорее женить сына. Вспомнили о замужней Алисе Дармштадтской. Послали туда наследника делать предложение». Предложение, конечно, было принято, — «еще бы не принять!» — замечает Витте.

О ней наш посол в Берлине, гр. Остен-Сакен, спрашивал своего доброго приятеля, обер-гофмаршала дармштадтского двора: что представляет она из себя? Тот «встал, осмотрел все двери» и, убедившись, что их никто не подслушивает, сказал Остен-Сакену: «Какое для Гессен Дармштадта счастье, что вы от нас ее берете!»

Она не особенно охотно переменяла религию, но так как это было необходимо для получения трона, то сделала это и вслед затем предалась православию до ханжества.

* Т. I, стр. 237–240, из собственноручной записи.

«С ее тупым, эгоистическим характером и узким мировоззрением, в чадуге всей роскоши русского двора, довольно естественно, что она впала всеми фибрами своего “я” в то, что я (Витте) называю православным язычеством, т. е. поклонение формам без сознания духа, — проповедь насилием, а не убеждением; или поклоняйся, или ты мой враг и против тебя будет мой самодержавный и неограниченный меч; я так думаю, значит, это так; я так хочу, значит, это правда. При такой психологии, окруженной низкопоклонными лакеями и интриганам, легко впасть во всякие заблуждения».

На беду Николай II был лишен воли; она же имела волю крепкую, и она забрала его в свои руки. Она льстила ему, она проводила своих людей, а он ее слушался, когда же не слушался, то ему жестоко «доставалось». Она его увлекала в мистицизм; разные проходимцы, окружавшие царя, вроде доктора Филиппа или позднее Распутина, по большей части ее (также и Николая Николаевича) креатуры; она была главной опорой черной сотни, и в значительной степени благодаря именно ей черносотенная печать получала значительные субсидии из средств государственного казначейства*.

Не меньше царицы льстили Николаю и великие князья. Так, однажды вел. кн. Николай Николаевич спросил Витте:

«— Скажите мне откровенно, Сергей Юльевич, как вы считаете государя, человеком или нет?»

Я ответил:

— Государь есть мой государь, и я его верный на всю жизнь слуга, но хотя он самодержавный государь, Богом или природой нам данный, он все-таки человек со всеми людям свойственными особенностями.

На это великий князь мне ответил:

— Видите ли, а я не считаю государя человеком, он не человек и не Бог, а нечто среднее...»**

На несчастье Николая, всю свою самостоятельную жизнь он был окружен людьми, которые не могли на него влиять сколько-нибудь благотворно. Сейчас мы видели, как грубо потакали самым низменным его инстинктам императрица и Николай Николаевич. Николай Николаевич — человек «самоуверенный и неуравновешенный, с весьма малым запасом логики», мистиче-

* Том II, стр. 249–251, 31, 5, из собственноручной записи.

** Т. I, стр. 248, из собственноручной записи.

ски тронутый. Благодаря верчению столов и вызову духов, он сошелся с купчихой Бурениной, с которой долго жил *maritalement*, а Буренина на этом, кажется, совсем помешалась. С тех пор он постоянно занимался «шарлатанами мистицизма», как, напр., неким доктором Филиппом, и проводил их к царю. «По слабости, присущей всем великим князьям», Николай Николаевич тащил «на высшие места лиц, которые были близки или к нему лично, или к его отцу, или же к даме, близкой к сердцу его отца — танцовщице Числовой, или к даме, близкой к сердцу самого великого князя Николая Николаевича — г-же Бурениной, и, наконец, лиц, заслуживших благоволение его супруги Анастасии, княжны Черногорской»*.

В том же роде было и влияние других великих князей, а «всяких великих князей, — говорит Витте, — у нас расплодилось целое стадо».

Печальную роль играл Александр Михайлович, «большой интриган и нехороший человек», «большой мастер на интриги», в интригах превзошедший даже свою мать, Ольгу Федоровну, баденскую принцессу, которая славилась своим прескверным характером и частой сменой фаворитов. Александр Михайлович весь «пошел в мать. Красивый по наружности, не глупый, полуобразованный», во многих случаях просто невежественный, «дилетант во всех областях знания, ни о чем толковой записки составить» не способный, «скрытный и страстный, в отношениях довольно симпатичный». Посредством закулисной интриги Александр Михайлович добился основания совершенно ненужного Главного управления торгового мореплавания, начальником которого (на правах министра) и был назначен. В этом звании он развел всевозможные злоупотребления**. Тут и другой интриган, Алексей Александрович, в звании генерал-адмирала так сильно навредивший русскому флоту, и многие другие. Александр III их держал в узде, а Николай хотя и обещал пообрезать им крылья, но поддавался их влиянию.

Быть может, хуже всех из этого «стада» — две великих княгини, которых Витте называет «черногорка № 1 и черногорка № 2», одна — жена вел. кн. Петра Николаевича, другая — жена сперва принца Лейхтенбергского, потом вел. кн. Николая Николаевича.

* Т. I, стр. 343, собственноручная запись.

** Т. I, стр. 196, 204, 208, 211 и 237, из собственноручных записей.

«Ох уж эти черногорки, натворили они бед России, — говорит Витте. — Не добром помянут русские люди их память».

Это две дочери князя Николая Черногорского. Они воспитывались в Смольном институте в Петербурге и пользовались вниманием Александра III. «Этого было достаточно, чтобы явились женихи из царской семьи. Слабогрудый Петр Николаевич женился на черногорке № 1, а принц Юрий Лейхтенбергский, третий сын великой княгини Марии Николаевны, женился на черногорке № 2. Но последний, женившись на черногорке № 2 (вторым браком), продолжал свою связь с куртизанкою за границей, где большей частью и проживал. Такое его поведение, конечно, не могло нравиться такому в высшей степени нравственному человеку, как Александр III».

После вступления на престол Николая II черногорки услужничеством сумели втереться в милость к новой императрице, и их влияние усилилось.

«Конечно, прежде всего явилось у них желание раздобыть побольше денег. Вот на этой почве мне пришлось сталкиваться с черногорками. Как-то раз черногорка Лейхтенбергская заявила мне, что им трудно жить, и что она просила помощи у государя через императрицу и просила и моего содействия к устройству этого дела. Вопрос сводился к тому, чтобы казна выдавала Лейхтенбергскому ежегодно 150000 рублей. Конечно, я признал это невозможным, и дело устроилось так, что бюджет Министерства двора был увеличен на 150000 рублей, а сие министерство уплачивает Лейхтенбергскому равную сумму.

Как это устроится теперь, когда черногорка № 2 покинула своего мужа Лейхтенбергского и вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, — не знаю».

«Нужно отдать справедливость черногоркам, они были преданные дочери и постоянно хлопотали о всяких денежных субсидиях своему княжескому родителю. Вся игра велась на том, что в интересах России, в случае столкновения ее с Германией, поставить Черногорию в такое положение, чтобы она могла оказать России содействие. Черногорцы молодцы; нужно только сформировать постоянные части, а для этого нужны деньги. Вот по особым высочайшим повелениям и начали отпускать черногорскому князю на содержание сказанных частей войск особые суммы, и теперь в смете Военного министерства таких расходов значится около миллиона рублей, если не больше, но как именно расходуются эти

деньги, никому в России не известно. Князь Николай по этому предмету писал государю самые убедительные письма, уверяя, что война с Германией неизбежна, и весьма нелестно отзывался о Вильгельме. У меня в архиве одно такое интересное письмо сохранилось. Но — *l'appetit vient en imngeant*. В 1901 или 1902 году вдруг появился Николай Черногорский в Петербурге. Затем я вижу с черногоркой № 2, которая мне говорит, что ее отец просил государя о помощи, что государь на это согласился, и, вероятно, я на днях получу повеление. Я пожелал узнать, о какой помощи идет речь. Черногорка мне ответила, что ее отец просит государя, чтобы ему была уступлена контрибуция, которую платит Турция России — около 3 000 000 руб. в год, — и что государь на это согласился, а потому князь Николай благодарил уже государя и уехал к себе обратно в Черногорию. Я сказал черногорке, что это, по моему мнению, невозможно.

На ближайшем всеподданнейшем докладе государь мне сказал, что князь черногорский просил, чтобы Россия ему оказывала денежную помощь, что он сказал князю, что не считает возможным из денег, платимых русским народом, оказывать денежную помощь иностранным, хотя бы более нежели дружественным народам. Тогда князь Николай ему ответил, что и он не счел бы возможным просить о такой помощи, а потому он просит, чтобы ему давали не русские деньги, а турецкие, т. е. чтобы Турция следуемую с нее ежегодную контрибуцию до 3 000 000 рублей в год передавала не России, а Черногории. Я доложил Его Величеству, что турецкая контрибуция, согласно закону, ежегодно вносится в государственную роспись и затем в отчет государственного контроля и что об исчезновении этой статьи дохода делается сейчас же всем известным. Я добавил, что это такие же русские деньги, как и все другие, входящие в роспись, что Турция нам платит контрибуцию в возмещение лишь части расходов, произведенных русским народом в последнюю восточную войну, и что исчезновение из доходов этой суммы русскому народу, в той или другой форме, придется восполнить и, наконец, что такая новая подачка Черногории по своим размерам переходит всякие пределы. В ответ на это государь мне говорит:

“Что же делать — я уже обещал”.

Его Величество меня часто обезоруживал этим доводом, но в данном случае я доложил государю, что если он обещал,

то потому, что князь Николай, вольно или невольно, ввел его в заблуждение, указав, что он сам не считает возможным брать русские деньги и потому просит турецкие, а так как оказывается, что это деньги русские, то, следовательно, весь его разговор с князем падает. Государь склонился к моим убеждениям, и я с министром иностранных дел дело это уладил, но все-таки пришлось по бюджету Военного министерства увеличить субсидию на несколько сот тысяч рублей. После этого черногорка № 2 мне с яростью сказала:

“Ну, я вам это не забуду, — будете помнить...”

Я воображаю, сколько эти сестры потом на меня клеветали императрице. Вообще, эти особы крепко присосались к русским деньгам»*.

В таком роде было вообще влияние великих князей и княжен. Нужно, однако, отдать справедливость Николаю Николаевичу, что два раза он сыграл и положительную роль. Один раз это было в начале октября 1905 года; он повлиял на царя, чтобы тот отказался от заключенного им в Биорке крайне вредного договора с Германией, — об этом будет сказано ниже. В другой раз, совсем накануне 17 октября 1905 года, когда император Николай колебался между диктатурой и уступкой требованиям общества, Николай Николаевич, почти всю свою жизнь бывший сторонником реакции, напуганный революцией, стал решительно на сторону уступок, несмотря на то, что именно он был тем лицом, которое прочили в диктаторы. 16 октября он пошел к императору Николаю и, показывая ему револьвер, грозил застрелиться, если Николай не подпишет манифеста 17 октября. И Николай подписал. Так, по крайней мере, барон Фредерикс рассказывал эту историю графу Витте. Но уже через несколько дней после этого Николай Николаевич находился в самых интимных отношениях с Дубровиным и черносотенцами и скоро «стал почти явно во главе этих революционеров правой».

Витте недоумевает, что двигало Николаем Николаевичем в октябрьские дни, но во всяком случае, говорит он, «не логика и не разум, ибо он уже давно впал в спиритизм и, так сказать, свихнулся, а по нутру своему представляет собою типичного носителя неограниченного самодержавия или, вернее говоря, самоволия, т. е.: хочю — и баста». В октябре Николай Николаевич,

* Т. I, стр. 237–240, из собственноручной записи.

вообще человек слабодушный и неуравновешенный, перепугался и растерялся и взять диктатуру в свои руки не решился. Но как только революционное движение ослабело, он воспрянул духом и показал себя тем, чем по своим основным склонностям должен был быть, т. е. крайним реакционером.

Долго спустя, П. Н. Дурново объяснил графу Витте поведение Николая Николаевича в октябрьские дни влиянием на него Ушакова, вождя немногочисленной группы монархически настроенных работавших, и сам Ушаков, с которым Витте видался, подтвердил это. К Николаю Николаевичу ввел Ушакова некий Нарышкин*.

Окруженный такого рода семьей и находящийся под такими влияниями, Николай совершенно не умел разбираться в людях; поэтому всякие проходимцы легко умели льстить его слабостям. Витте мало говорит о Распутине, потому что возвышение Распутина относится к последующей эпохе, не захваченной мемуарами Витте. Но Григорий Распутин был не первый фаворит Николая того же типа. Во время Японской войны таким фаворитом был шарлатан доктор Филипп, француз по происхождению. Не будучи врачом, он еще во Франции начал лечить разными чудодейственными способами, достиг некоторого успеха и приобрел поклонников, преимущественно в рядах французских националистов. К их числу принадлежал наш военный агент в Париже, граф Муравьев-Амурский (младший брат министра юстиции Н. В. Муравьева).

«Этот граф был человек положительно ненормальный», он и другие поклонники Филиппа провозгласили его святым, во всяком случае они уверяли, что он не родился, а с небес сошел на землю и так же уйдет обратно.

«С этим Филиппом познакомилась за границей жена великого князя Петра Николаевича, черногорка № 1, или жена принца Лейхтенбергского, черногорка № 2.

Через черногорок Филипп влез к великим князьям Николаевичам и затем и к Их Величествам. Таким образом, Филипп несколько раз проживал секретно по месяцам в Петербурге, и преимущественно в летних резиденциях, он постоянно занимался беседами и мистическими сеансами с Их Величествами, Николаевичами и черногорками. На даче великого князя Петра Николаевича около Петергофа с Филиппом виделся и Иоанн

* Т. II, стр. 35–37, из собственноручной записи.

Кронштадтский. По-видимому, там и родилась мысль о провозглашении старца Серафима Саровского святым.

Так как Филиппу не удалось получить диплома во Франции, то, вопреки всем законам, при военном министре Куропаткине ему дали доктора медицины от петербургской военной медицинской академии и чин действительного статского советника.

Императрицу Марию Федоровну немало смущали ночные сеансы с Филиппом, хотя они держались в секрете. Великий князь Николай Николаевич и принц Лейхтенбергский, второй и первый супруги черногорки № 2, на вопросы их друзей о Филиппе категорически отвечали, что, во всяком случае, это святой человек. Понемногу около Филиппа образовалась немногочисленная секта своего рода иллюминатов.

Филипп через несколько лет, еще до окончания войны, умер, но, по уверению его поклонников, поднялся живым на небо, окончив на нашей планете свою миссию. Кажется, в особенности увлекался Филиппом великий князь Николай Николаевич, который вообще мистически тронут»*.

Вместе с Николаем Николаевичем увлекались Филиппом императрица и сам царь. Увлечение было настолько сильно, вера в Филиппа настолько глубока, что ему однажды удалось внушить истеричной Александре Федоровне, будто она беременна.

«Она начала носить платья, которые носила ранее во время последних месяцев беременности, перестала носить корсет. Все заметили, что императрица сильно потолстела; все были уверены, что императрица беременна. Государь радовался, об ее беременности России сделалось официально известно. Прекратились выходы с императрицей.

Прошло девять месяцев. Все в Петербурге ежечасно ожидали пальбу орудий с Петропавловской крепости, оповещающую жителей, по числу выстрелов, о рождении сына или дочери. Императрица перестала ходить, все время лежала. Лейб-акушер Отт со своими ассистентами переселился в Петергоф, ожидая с часу на час это событие. Между тем роды не наступали. Тогда профессор Отт начал уговаривать императрицу и государя, чтобы ему позволили исследовать императрицу. Императрица, по понятным причинам, вообще не давала себя исследовать до родов. Наконец она согласилась. Отт исследовал и заявил, что императрица

* Т. I, 237, 242, 246, 247, собственноручная запись.

не беременна и не была беременна, что затем в соответствующей форме было оповещено России.

Если какой-нибудь шарлатан может внушить женщине, что она забеременела и женщина под этим внушением находится в продолжение девяти месяцев, то что может внушить любой проходимец такой особе? А раз что-либо ей внушено, то сие внушение передается ее безвольному, но прекрасному мужу, а этот муж неограниченно распоряжается судьбой величайшей империи и благосостоянием и даже жизнью 140 000 000 человеческих душ, т. е. божественными искорками Всевышнего...»*.

Князь Мещерский происходил из хорошей семьи; по матери он внук историка Карамзина. Уже в детстве он был вхож во дворец, где в качестве сверстника цесаревича Николая Александровича (сына Александра II, старшего брата Александра III) был выбран в товарищи его игр и занятий. После ранней смерти Николая Александровича, цесаревич Александр Александрович (впоследствии имп. Александр III), сильно любивший своего брата, в первое время относился с симпатией к Мещерскому. Но очень скоро Мещерский приобрел репутацию человека грязного, и от него стали сторониться, в особенности женщины; цесаревна Мария Федоровна открыто называла его негодяем и не желала, чтобы он переступал порога ее дворца. Цесаревич Александр все-таки принимал его, но принимал, «так сказать, с заднего крыльца». Так дело обстояло почти везде, где принимали Мещерского: женская половина не желала иметь с ним дела, но мужчины иногда поддерживали с ним отношения, зная, что Мещерский — человек сильный и мстительный. Не все, конечно; Победоносцев, знавший Мещерского с детства этого последнего, говорил графу Витте о нем как о человеке грязном и низком и знаясь с ним не советовал. Витте, однако, как он признает, бывал у Мещерского, не раз у него обедал и принимал к себе на обеды.

В конце восьмидесятых годов с Мещерским произошел громкий скандал, широко распространившийся в обществе; это «так называемая история с трубачем».

«В лейб-стрелковом батальоне находился один трубач, молодой парень, который очень понравился Мещерскому» и часто

* I, 424–425, из собственноручной записи. Опять-таки здесь мы встречаем в собственноручной записи квалификацию Николая как «прекрасного»; вряд ли ее можно принять за иронию, — ирония вообще чужда Витте.

бывал у него. Граф Келлер, командир батальона, «узнав об этом, наказал трубача» и запретил ему ходить к Мещерскому. «Тогда кн. Мещерский начал, по своему обыкновению, доносить на Келлера, писать грязные статьи» в издаваемом им ультраконсервативном «Гражданине», и добился того, что Келлер был отрешен от командования батальоном. «Но затем расследование этого дела установило правоту Келлера и удивительно грязную роль Мещерского». Келлер был реабилитирован; позднее он был губернатором в Екатеринославе, а еще позднее был убит во время Японской войны.

Эта грязная история разнеслась по Петербургу, и многих, в том числе императрицу Марию Федоровну, еще более вооружила против Мещерского*.

Потом у Мещерского были и другие любимцы, и Мещерский всегда протезировал им и выдвигал на разные посты. Так, некто «Бурдуков, будучи простым армейским офицером, не имея ни таланта, ни образования, будучи человеком вполне ничтожным», в качестве любимца Мещерского сделал при Плеве, находившемся под сильным влиянием Мещерского, блестящую карьеру: «в настоящее время (т. е. около 1910) уже камергер, член тарифного комитета Министерства финансов от Министерства внутренних дел и чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел. Кроме того, он имел некоторые средства, потому что благодаря Мещерскому ему постоянно давали какие-то поручения, связанные с денежными подачками... Даже как-то раз насколько мне известно, он получил командировочные деньги (в Туркестан), совсем не ездивши».

Уже из этого видно, что дурная репутация не помешала Мещерскому оставаться сильным и влиятельным человеком и не помешала ему получать хорошие деньги от казны. Его газета «Гражданин» успеха не имела и не окупалась, но сам Витте в качестве министра финансов лично выдавал на нее князю Мещерскому по 80000 р. в год, и это делалось по прямому приказанию еще императора Александра III. Витте как будто совсем не замечает, что весь его рассказ о Мещерском очень больно задевает и память Александра III, которому прославленная строгая нравствен-

* Эта история дала повод Владимиру Соловьеву написать стихотворение, в свое время ходившее по рукам, начинающееся словами: «Содома князь и “Гражданин” Гоморры идет на Русь с газетою большой».

ность не помешала смотреть на старого развратника и на низкого человека Мещерского как на выразителя и защитника его политики. Витте строго осуждает Александру Федоровну за то, что благодаря ей выдавались черносотенной печати казенные деньги, т. е., как в этом случае считает нужным подчеркнуть, деньги, собираемые с неимущего населения России, и не считает нужным отметить того же самого относительно Александра III, тратившего такие же казенные, следовательно, такие же народные, деньги на газету «Гражданин», которая ничуть не лучше газет Дубровина и Пуришкевича.

Николай II унаследовал от Александра III личное презрение к князю Мещерскому и сначала действовал даже в более соответствовавшем этому презрению направлении: повелев перед 1895 годом выдать Мещерскому 80000 р., он велел предупредить его, что деньги выдаются ему в последний раз.

Субсидия, таким образом, была отнята.

Но когда министром вн. д. сделался Сипягин, родственник и приятель Мещерского, то субсидия по его ходатайству была восстановлена, и даже больше того: Николай разрешил Мещерскому писать ему лично политические письма. Письма эти, видимо, нравились; Николай отвечал на них и скоро даже начал обращаться к Мещерскому на «ты», хотя вообще всем, кроме родственников, говорил и писал «вы»; таким образом, это было признаком совершенно исключительной интимности и близости. И звезда Мещерского воссияла новым, гораздо более ярким, чем прежде, блеском: с ним советовались даже при назначении министров. А Мещерский при этом обделывал свои личные делишки, мстя за обиды, платя за услуги. Плеве был назначен министром по рекомендации Мещерского. Сам Витте прислушивался к этим рекомендациям и при составлении своего кабинета предложил министру просвещения Ив. Ив. Толстому в товарищи Герасимова, имея о нем только рекомендацию князя Мещерского*; и Герасимов был назначен.

Из высокопоставленных лиц очень немногие не заискивали перед Мещерским, а Святополк-Мирский сделал даже больше. Когда однажды Николай II заговорил с ним о Мещерском, то Мирский «сказал государю, что считает Мещерского таким человеком, которого государь не только не должен знать, но даже

* Т. II, стр. 101, из собственноручной записи.

произнесение имени князя Мещерского устами государя императора, по его мнению, оскверняет царственные уста». Для такого заявления, без всякого сомнения, нужна была исключительная смелость, и Мещерский мстил за нее Мирскому, писал Николаю всевозможные на него клеветы*.

Тем же неумением разбираться в людях, конечно, объясняется и симпатия Николая к черносотенцам. Любопытен отзыв о них Витте:

«Партия эта сыграет еще громадную роль в дальнейшем развитии анархии в России, так как в душе она пользуется полной симпатией государя, а в особенности несчастной для России императрицы, и имеет свои положительные и симпатичные стороны. Эта партия в основе своей патриотична, а потому при нашем космополитизме симпатична. Но она патриотична стихийно, она зиждется не на разуме и благородстве, а на страстях. Большинство ее вожаков — политические проходимцы, люди грязные по мыслям и чувствам, не имеют ни одной жизнеспособной и честной политической идеи и все свои усилия направляют на разжигание самых низких страстей дикой, темной толпы. Партия эта, находясь под крылами двуглавого орла, может произвести ужасные погромы и опустошения, но ничего, кроме отрицательного, создать не может. Она представляет собою дикий нигилистический патриотизм, питаемый ложью, клеветой и обманом, и есть партия дикого и трусливого отчаяния, но не содержит в себе мужественного и прозорливого созидания. Она состоит из темной, дикой массы, вожаков — политических негодяев, тайных соучастников из придворных и различных, преимущественно титулованных, дворян, все благополучие которых связано с беспорядком, и лозунг которых «не мы для народа, а народ для нашего чрева». К чести дворян, эти тайные черносотенники составляют меньшинство благородного русского дворянства. Это — дегенераты дворянства, взлелеянные подачками (хотя и миллионными) от царских столов. И бедный государь мечтает, опираясь на эту партию, восстановить величие России. Бедный государь... И это главным образом влияние императрицы.

* Князю Мещерскому в «Воспоминаниях» Витте посвящена специальная глава в 18 страниц, находящаяся в стенографических диктовках и помещенная в Приложении к II тому, стр. 509–526. Кроме того, о нем многократно упоминается на протяжении обоих томов.

Пишу эти строки, предвидя все последствия безобразнейшей телеграммы императора проходимцу Дубровину, председателю Союза русского народа (3 июня 1907 г.). Телеграмма, эта в связи с манифестом о роспуске второй Думы, показывает все убожество политической мысли и болезненность души самодержавного императора...»*.

При таком неумении разбираться в людях, при такой податливости на самые низкие влияния, совершенно естественно, что Николай вручал бразды правления по преимуществу неподходящим людям.

Мы уже видели, как был назначен Горемыкин, и знаем, что потом его место занял «дурак» Сипягин (к которому, впрочем, Витте относится снисходительно и даже сочувственно, не приводя, однако, достаточных данных для оправдания своего сочувствия) и затем «подлец» Плеве.

Роль Плеве в качестве директора Департамента полиции и министра внутренних дел достаточно известна, и новых фактов относительно нее Витте не дает. Здесь интересны только психологические замечания Витте. Напр., всем известно, и Витте это подтверждает, что еврейские погромы как в начале 80-х годов, когда Плеве был Директором департамента полиции (при министре вн. д. Игнатъеве), так и в 1902–04, когда Плеве был министром, были для Плеве способом борьбы с революцией, и Плеве даже говорил некоторым еврейским раввинам: «Заставьте ваших прекратить революцию, а я прекращу погромы», а вместе с тем, как утверждает Витте на основании разговоров с Плеве, Плеве не был врагом евреев и понимал ошибочность своей политики, — но она нравилась его начальству, нравилась в. кн. Сергею Александровичу, нравилась царю, и этого для Плеве было достаточно, чтобы ее проводить. Плеве — поляк по происхождению, но еще в молодости ради карьеры переменил религию и фамилию, и хотя он не верил ни в бога, ни в черта, но в угоду Сергею Александровичу и Победоносцеву прикидывался очень набожным, ходил на поклонение в Троице-Сергиевскую лавру и т. д.**

Совершенной бездарностью был ген. Куропаткин, военный министр перед Японской войной, командующий армией

* I, 245, собственноручная запись.

** Т. I, стр. 192–194, частью из стенографич., частью из собственноручной записи.

и главнокомандующий во время войны. Относительно него, правда, ошибался не один Николай; этот человек сумел ввести в обман общественное мнение, и главнокомандующим он был назначен тогда, когда Николай совершенно охладел к нему, по требованию общественного мнения, главным образом «Нового времени» (Витте склонен в «Новом времени» видеть авторитетного выразителя общественного мнения, между тем это, без сомнения, совершенно не верно). Лично Куропаткин был храбр и получил Георгия тогда, когда Георгий даром не давался, но сам он раздачей Георгия направо и налево, без всяких оснований, по протекции, немало содействовал падению этого ордена. Лично храбрый и бойкий на язык, ген. Куропаткин, по выражению А. А. Абазы (бывшего министра финансов), обладал душою штабного писаря, делал он карьеру самой грубой, бесшабашной лестью и прислужничеством, любил становиться в позу и тоном «актера балаганных трупп» говорить о своей любви к государю. Значения Японии и Японской войны он совершенно не понимал и накликал ее с совершенным легкомыслием*.

Еще хуже был адмирал Алексеев. О начале его карьеры, еще в конце царствования Александра II, Витте рассказывает следующее. Во время кругосветного плавания молодой великий князь Алексей Александрович в Марселе «с компанией товарищей-моряков отправился ночью в веселое заведение с дамами. В этом заведении великий князь совершил различные буйства и поэтому был привлечен к ответственности. Но вместо него явился молодой офицер Алексеев, который уверил, что это он совершил буйства и что буйства эти только по ошибке приписали великому князю, потому что фамилия его Алексеев, а французские власти не разобрали и вообразили, что буйства эти учинил великий князь Алексей»**.

Алексеев понес наказание в виде денежного штрафа, но, само собой разумеется, снискал дружбу великого князя. Последний при Александре III сделался генерал-адмиралом, и карьера Алексеева была обеспечена. Он кончил заместником на Дальнем Востоке, и в этой должности вместе со своими протеже —

* Т. I, стр. 136–142, 164 и 175; частью из стенографич., частью из собственноручной записи.

** Т. I, стр. 263, из стенографич. записи.

Безобразовым и Абазой — был одним из главных виновников Японской войны, а после ее начала одновременно и главнокомандующим, хотя он даже верхом не мог ездить и боялся лошадей*; за войну, которую он проиграл, он получил Георгия, хотя не слышал ни одного выстрела; но в плюс ему следует поставить, что он носит большую бороду, так что Георгия не видно. Не один Алексеев виновен в войне: к ней систематически вела вся политика Николая, и все или почти все ее хотели. Плеве прямо говорил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война»**.

Витте рассказывает довольно подробно, хотя несколько бесвязно, историю Японской войны. Многие из того, что он рассказывает, было известно и раньше. Было известно, что сам Витте был противником всей политики, которая привела к ней; в своих «Воспоминаниях» он подчеркивает это многократно, с особой, вполне понятной гордостью. И, однако, тут же он сообщает один, — как кажется, неизвестный до сих пор, — факт, как лично он участвовал в захвате Квантунского полуострова.

Авантюристская политика на Дальнем Востоке была вызвана потребностью в открытом море. Таковое можно было найти сравнительно недалеко: Екатерининская бухта на Мурманском берегу никогда не замерзает; но царь под разными, частью своекорыстными, частью просто неразумными, влияниями отказался от устройства там порта, — и этим толкнул нас в поисках за открытым морем на Дальний Восток.

Витте в 1896 году добился от Ли-Хунг-Чана согласия на проведение по китайским владениям железной дороги к Владивостоку, но Япония угрозы себе в этом не видела, и, следовательно, здесь не было ей вызова. С Китаем у нас был по этому случаю заключен договор, по которому мы обязались охранять неприкосновенность Китая, но «мы сами, не то коварно, не то легкомысленно, нарушили этот договор», и это коварство или легкомыслие было причиной нашего несчастья.

Вызов явился позднее. Сделанный Николаем, по чувству гостеприимного хозяина, подарок Вильгельму II не принадлежащего ему порта Киао-Чао был началом расхищения Китая, в котором и мы приняли деятельное участие.

* Т. I, стр. 262, из стенографической записи.

** Т. I, стр. 262, из собственноручной записи.

Так как у нас «в высших сферах существует страсть к захватам того, что плохо лежит», то министр иностранных дел граф Муравьев задумал захват Порт-Артура и Квантунского полуострова. На совещании под председательством царя, на котором обсуждался этот проект, принесший столь неисчислимый вред России, Витте, как он рассказывает, очень решительно возражал. Но с ним не согласились. И сам Витте, видя, что Его Величество не уступит, и опасаясь кровавого столкновения, с своей стороны вмешался в переговоры с Китаем, предложив Ли-Хунг-Чану через посредство агента Министерства финансов в Пекине 500000 рублей, а другому китайскому сановнику — 250000. Взятки были приняты, и дело сделано. «Это был единственный раз, когда в моих переговорах с китайцами я прибег к взятке», — говорит Витте.

Дело было сделано, и последствия были весьма печальные. Противником этой политики был министр иностранных дел Ламсдорф, предвидевший ее результаты; но, мягкий и уклончивый по натуре, он хотя и возражал против нее, но не был достаточно настойчив и официально скреплял ее, так что в глазах Японии и Европы нес за нее ответственность. Когда Витте высказывал ему свои мнения о желательности тех или иных шагов, то бедный Ламсдорф беспомощно отвечал:

«Я ничего не могу сделать, так как переговоры ведутся не мной», — и спокойно оставался на своем месте. Именно он и был принесен в жертву общественному мнению, требовавшему удовлетворения, когда война была проиграна*.

Я не стану передавать рассказа Витте о перипетиях японской драмы — в них, по существу, мало нового. Не нов и его позорный рассказ о разграблении Пекина, и в частности дворца богдыхана, русскими войсками. Не ново, по существу, конечно, и сообщение Витте об изумительном ослеплении русских государственных деятелей, которые все были уверены, что с японцами можно делать, что угодно, что они войны начать не посмеют. Ванновский и Куропаткин, два воен. министра, согласно поддерживали «кровавую», как ее называет Витте, политику на Дальнем Востоке (Куропаткин, впрочем, в последние месяцы перед войной изменил

* Стр. 252, 254, 261, из собственноручной записи. Эта роль Ламсдорфа выяснилась уже из конфиденциальной записки, которая была напечатана в «Вестнике Европы», 1906, № 4.

свою позицию), а когда война началась, то они же спорили только о том, достаточно ли для победы одного русского солдата на двух японских или нужно иметь одного против полутора*.

Плеве говорил о том, что нам необходима «маленькая победоносная война» (чтобы предупредить революцию). Но всех изумительнее был сам царь, который уверенно говорил: «Я войны ни за что не начну, а они не посмеют; значит, войны не будет. Войны не будет, так как я ее не хочу». Впрочем, по мнению Витте, царь в глубине души войны желал, и желал отчасти «по родившемуся в нем дурному чувству к японцам после покушения на его жизнь в Японии (хотя он об этом никогда не говорил)», а отчасти в погоне за славой**. Но говорил он иное.

Японцы, однако, посмели.

Война была настолько непопулярна даже в высшем обществе (несмотря на то, что большинство министров и правительственных деятелей толкали Россию на нее), что в самом Зимнем дворце после богослужения по поводу начала войны «ура» в честь царя, провозглашенное генералом Богдановичем, было поддержано лишь немногими голосами***. Нечего говорить, что уличные манифестации, устраивавшиеся полицией, не находили отклика: народ явственно не сочувствовал войне****.

Но у царя в ближайшие дни «выражение и осанка были весьма победоносные». Японцы были в его глазах макаками, которых разбить ничего не стоит, что же касается ген. Куропаткина, то он уезжал на войну с помпой, с речами, провожаемый как победитель*****, хотя перед самым началом войны он начал понимать, что война будет не такой шуточной, как ему казалось раньше.

Главкомандующим сначала был назначен совершенно невежественный в сухопутном военном деле адмирал Алексеев, а командующим армией — ген. Куропаткин, последний против воли царя, под давлением общественного мнения, почему-то верившего в таланты Куропаткина и единодушно требовавшего

* Т. I, стр. 161, 267, из стенографической записи.

** Т. I, стр. 250–252, из собственноручной записи.

*** Т. I, стр. 261, из стенографической записи.

**** Т. I, стр. 262, из собственноручной записи.

***** Т. I, стр. 262 и 264, частью из стенографич., частью из собственноручной записи.

этого назначения*. Таким образом, вопреки элементарному требованию военного искусства было создано двоевластие, причем были назначены два лица, державшиеся как раз противоположных мнений по важнейшим вопросам тактики: Алексеев был сторонником решительной и наступательной тактики, в частности наступления для выручки Порт-Артура, когда тот был осажден японцами, тогда как Куропаткин, все-таки лучше понимавший действительное соотношение сил, стоял за отступление до Харбина и оборону. Притом эти два лица друг друга ненавидели. «Ничего, кроме сумбура, произойти не могло», — и не произошло.

Куропаткин перед отъездом был у Витте и обратился к нему за советом, что делать. «Я бы мог вам дать хороший совет, — ответил Витте, — только вы его не послушаетесь». Заинтересованный Куропаткин, конечно, настойчиво просил совета, и Витте дал его: по приезде в Мукден немедленно арестовать Алексеева.

«Ввиду того престижа, — разъяснял Витте, — который вы имеете в войсках, на такой ваш поступок не будут реагировать. Затем я бы посадил Алексеева в тот поезд, в котором вы приехали, и отправил бы его под арестом в Петербург и одновременно бы телеграфировал государю императору следующее: Ваше Величество, для успешного исполнения того громадного дела, которое Вы на меня возложили, я счел необходимым, приехавши в действующую армию, прежде всего арестовать главнокомандующего и отправить его в Петербург, так как без этого условия успешное ведение войны немыслимо; прошу Ваше Величество за мой такой дерзкий поступок приказать меня расстрелять или же, в видах пользы родины, меня простить».

«Куропаткин засмеялся, начал махать руками и сказал мне: “Вот, Сергей Юльевич, вы всегда шутите”; на что я ему ответил: “Я, Алексей Николаевич, не шучу, ибо я убежден, что в том двоевластии, которое обнаружится со дня вашего приезда, заключается залог всех наших военных неудач”. Куропаткин, уходя, заметил: “А вы правы”»**.

По приезде в Мукден Куропаткин, конечно, не только не последовал совету Витте, но не выполнил своего собственного плана и начал проводить «двойственный план: смесь своего с планом

* Т. I, стр. 264, из стенографической записи.

** Т. I, стр. 265, из стенографической записи.

или, вернее, мыслями Алексеева, ибо у последнего никакого плана не могло быть, да и мыслей своих не было, а было то, что казалось ему, что будет приятно государю, а ведь тогда еще сохранились все остатки сумасбродных мыслей Безобразова и К⁰, и государь не мог отойти от того, что ему сими дельцами было внушено».

Куропаткин телеграфировал в Петербург одно, Алексей — другое, но Куропаткин все-таки не хотел открытого разрыва с Алексеевым и потому шел на полумеры, а Алексей прикрывался высочайшими повелениями, им самим внушенными.

«Мне Куропаткин после войны говорил, что у него есть телеграммы из Петербурга, которые могли бы представить в истинном свете неудачи первой части кампании. Вероятно, когда-нибудь они появятся на свет.

Государь также желал в душе наступления, но, по обыкновению, двоился: сегодня — направо, завтра — налево, а главное, желал, как всегда, обоих провести. Проводил же он всегда больше всего самого себя. Я не знаю подробностей первой части кампании, покуда Алексей не был вызван в Петербург и Куропаткин не был назначен главнокомандующим, но могу безошибочно утверждать, что первая часть кампании разыгралась бы совершенно иначе, если бы не было этой двойственности; она была бы более для нас благоприятной. А неудача вначале, несомненно, имела влияние на вторую часть действий.

Затем Куропаткин мне говорил, также в оправдание свое, что ему назначили бездарных генералов помимо его воли и вмешивались все время из Петербурга. На эти сетования я ему ответил, что во всем он сам виноват, так как не исполнил моего совета, данного ему, когда он уезжал в армию. Если бы он сумел себя сразу поставить так, чтобы никто не вмешивался и его слушались, то ему не пришлось бы ссылаться на других. Если же это ему было невозможно, что я совершенно понимаю, зная характер государя, то ему следовало уйти»*.

Совершенно понятно, что преступно и легкомысленно начатая, легкомысленно веденная война не могла кончиться иначе, чем позором для России.

Обратимся теперь к одному событию, конечно, не только гораздо менее важному, чем Японская война, но вообще имеющему значение не более чем скоропреходящего эпизода, окончившегося

* Т. I, стр. 266, из собственноручной записи.

для нас сравнительно благополучно; но его интерес для нас состоит в том, что оно чрезвычайно характерно для способа ведения при Николае иностранной политики и лично для императора Николая II. Это событие — Биоркский договор.

10–11 июля (по ст. ст.) 1905 года, т. е. как раз перед самым началом мирных переговоров между Россией и Японией (первая встреча уполномоченных произошла 25 июля н. ст.), произошла встреча императоров Николая II и Вильгельма II в шхерах Финляндского залива, около Биорке. Официально о свидании не сообщалось ничего, официозно дело представлялось таким образом, что встреча произошла почти случайно, так как Вильгельм, прогуливаясь на яхте ради летнего отдыха, не удержался от соблазна заехать в русские воды, чтобы повидаться с своим старым другом, императором Николаем, и свидание было исключительно личным и дружественным. Это подтверждалось тем, что ни при Вильгельме, ни при Николае не было ответственных руководителей их иностранной политики, а при Николае был морской министр Бирилев, т. е. человек по своей профессии далекий от иностранной политики. Тем не менее пресса, особенно французская, не вполне доверяла этому объяснению и искала его скрытый политический смысл, но все ее предположения были далеки от истины. Позднее сделалось кое-что известным, но только теперь Витте раскрывает тайну биоркского свидания во всей ее ужасающей полноте.

В Биорке был заключен очень важный политический договор, и вот как это случилось или, лучше сказать, как об этом узнал Витте.

Находясь в Америке, где он вел переговоры с японцами, он не знал о свидании в Биорке ничего, кроме того, что читал в газетах. Не больше узнал он и на возвратном пути домой, пока не представился императору Вильгельму. Вильгельм сообщил ему о заключении договора, но также его не показал, а сообщил о нем только в самых общих и притом неверных чертах, — будто речь шла о договоре, долженствовавшем быть первым шагом на пути к русско-франко-германскому союзу, идее которого Витте сочувствовал. По приезде в Петербург 16 сентября (по ст. ст.) он был у Ламсдорфа, и оказалось, что министр иностранных дел тоже ничего основательно о договоре не знает. Потом Витте был у царя, вел с ним беседу между прочим о том же договоре; беседа эта была построена на недоразумении, и царь не только не рассеял его, но укрепил Витте в его неверном представлении о договоре.

Через несколько времени Витте еще раз виделся с Ламсдорфом. Ламсдорф спросил его:

«— Да читали ли вы соглашение в Биорках?

— Нет, не читал.

— Вильгельм и государь не давали вам его прочесть?

— Нет, не давали, да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться к государю, также мне не дали его прочесть.

На это граф ответил следующее:

— Я не дал, потому что не знал о его существовании; о нем в эти три месяца мне никто не сказал ни одного слова, и только теперь государь мне его передал. Прочтите, что за прелесть! —

Граф Ламсдорф был весьма взволнован. Я взял и прочел это соглашение. Вот в чем оно заключалось.

“Германия и Россия обязуются защищать друг друга в случае войны с какой-либо европейской державой (значит, и с Францией). Россия обязуется принять все от нее зависящие меры, чтобы к этому союзу с Германией привлечь и Францию (но покуда это не совершится, или если это достигнуто не будет, все-таки союз России с Германией имеет полную силу). Договор вступает в силу со времени заключения мира с Японией, т. е. со времени ратификации Портсмутского договора (значит, если война с Японией будет продолжаться — отлично, а если прекратится, Россия втягивается в этот договор). Договор подписан императорами Николаем и Вильгельмом и контрассигнован германским сановником, бывшим с Вильгельмом в Биорках (не разобрал фамилию), а с нашей стороны морским министром Бирилевым”.

Прочитавши этот договор, я сказал графу Ламсдорфу:

— Да это — прямой подвох, не говоря о неэквивалентности договора. Ведь такой договор бесчестен по отношению к Франции, ведь по одному этому он невозможен. Неужели все это сотворено без вас и до последних дней вы не знали об этом? Разве государю неизвестен наш договор с Францией?

— Как неизвестен! Отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего, не сообразил сути дела в тумане, напущенном Вильгельмом. Я же об договоре ничего не знал и совершенно добросовестно телеграфировал вам в Париж, когда вы ехали в Америку, что свидание в Биорках не имеет никакого политического значения.

— Необходимо, — ответил я графу Ламсдорфу, — во что бы то ни стало уничтожить этот договор, хотя бы пришлось замедлить ратификацией Портсмутского договора — это ваш долг.

На это граф мне ответил:

— Если государь на это согласится, то, конечно, это сделать необходимо».

В конце концов договор удалось уничтожить, причем этому сильно содействовал вел. кн. Николай Николаевич.

И затем эпилог:

«Затем я видел Бирилева и спросил его:

— Вы знаете, что вы подписали в Биорках?

— Нет, не знаю. Я не отрицаю, что подписал какую-то бумагу, весьма важную, но что в ней заключается, не знаю. Вот как было дело: призывает меня государь в свою каюту-кабинет и говорит: вы мне верите, Алексей Алексеевич? — После моего ответа он прибавил: — Ну, в таком случае подпишите эту бумагу. Вы видите, она подписана мной и Германским императором и скреплена от Германии лицом, на сие имеющим право. Германский император желает, чтобы она была скреплена одним из моих министров. — Тогда я взял и подписал»*.

Итак, беда пронеслась мимо, и все несчастье ограничилось дипломатическими затруднениями и несколькими другими, второстепенными по значению, неприятностями. Немало других событий, оказавшихся для России гораздо более губительными, рассказывает Витте в своих «Воспоминаниях», — хотя бы событий, подготовивших и сделавших неизбежной Японскую войну. Но по яркости того света, который бросает оно на весь государственный строй России, по своей обнаженности, история Биоркского договора едва ли не превосходит все остальное.

В самом деле, правитель громадного государства едет на свидание с правителем другого государства, отношения с которым весьма сложные и, во всяком случае, не безусловно дружественные. Едет на свидание, сам, по-видимому, считая его просто дружеской встречей; таковою, во всяком случае, считают его собственные министры, и министр иностранных дел в том числе. Там, среди дружеских разговоров, этот второй правитель подсовывает первому бумагу неизмеримого государственного значения, могущую впутать его страну в ужаснейшую войну, бумагу, которою он совершал низкую измену своему союзнику, — и этот подписывает ее, не вчитавшись в нее, ни с кем не посоветовавшись, не отдавая себе отчета в ее значении, даже, по-видимому, искренно ошибаясь

* Т. I, стр. 426, из собственноручной записи.

в этом значении. А между тем бумага написана совершенно ясно, и вовсе нет надобности в какой-нибудь исключительной силе ума, чтобы ее понять. К этому еще один добавочный штрих: министр, т. е. лицо, которому вверено управление целою важной отраслью государственного хозяйства, из угодничества своему властелину скрепляет своею подписью документ, не прочитав его.

А властелин, по-видимому, все-таки чувствуя, что дело неладно, как напроказивший ребенок, скрывает этот документ от своего министра иностранных дел, т. е. от лица, которому первому надлежало бы о нем иметь самые точные, самые определенные сведения, — лица, на котором, во всяком случае, лежит за него перед современниками и перед историей ответственность. И это лицо даже не проявляет особой настойчивости, чтобы ознакомиться с ним, и добросовестно телеграфирует о нем ложные сведения.

Да, Россией управляли или дети, облеченные неизмеримой властью, или люди, которые, по своекорыстным соображениям, потакали всем слабостям этих детей, разыгрывая на них желательные им мелодии.

Мы видим монарха, неспособного, неумного, необразованного, слабого и податливого на все дурные влияния, тщеславного, мелочного, упрямого, мстительного, не прощающего не только обид, но не прощающего другим своих собственных слабостей и ошибок. Мы видели окружающую его среду — его родных и фаворитов. Мы видели, как и кто делает при нем карьеру, как и кто получает в свои руки власть. Мы видели, какие нравы царят наверху. Мы видели, как легкомысленно и преступно затеваются авантюры, приводящие к войне; как заключаются преступные международные договоры и соглашения, как безнаказанно сходят с рук преступления вроде тех, которые привели к Ходынской катастрофе, как расхищаются государственные деньги и т. д., и т. д.

Конечно, я не исчерпал и небольшой доли богатейшего содержания книги Витте, — это невозможно в тесных пределах небольшой брошюры, — но и то, что я взял из нее, в достаточной мере показывает, как гнил был российский государственный строй, уже обреченный историей на слом.

